

гордо подняла подбородок и скользнула по ней взглядом, выражающим независимость, победоносность и снисхождение к ее тучному возрасту...

Через несколько лет я с упоением читала и запоминала наизусть ее стихи, которые казались мне прекрасными и образцовыми и которые считаю таковыми и до сих пор. Однако мне во всех подробностях запомнилась эта «моя встреча с Ахматовой», такая, на мой взгляд, нелепая и даже смешная.

Ну, честно говоря, и Анну Андреевну я вскоре прекрасно поняла: она приняла меня за выскочку и фанатичку, верную заветам Ильича, которая носит пионерский галстук поверх не только школьной формы, но и свитера и джинсов.

Стихи с посвящением

А.А.

Я думаю – страдала ведь она
еще и оттого, что жизнь пресна,
что из красавицы, с ее таким особым
изгибом, шармом, линией крыла,
ее вдруг превратили зеркала
в старуху грузную с одышкой и зобом.
Ей, прежней, с электричеством в крови,
питавшейся энергией любви
и токами мужского восхищенья,
не просто так – забыться и забыть,
как кожу снять, как руку отрубить,
и пережить такие превращения.
...Офелия плывет с венками ив.
А лирике грозит разлом, разрыв
материи – утратой героини.
Она утонет с песнями, а та,
что выживет на берегу, у рта
потерю выдаст складкою гордыни.
И все-таки, минуя зеркала,
такую музыку она в себе несла!
Земля плыла, качались в такт кадила,
мир в жертвенной крови крутила ось.
Но с пением она прошла насквозь
плен времени и, выйдя, – победила!

2.

История эта, однако, имела своеобразное продолжение.

Несколько лет назад Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Зеркало», подарила мне номер с последним интервью мемуаристки Эммы Герштейн, которое, судя по всему, было взято у нее не совсем обычным способом – то есть Эмма

Григорьевна и не подозревала, что ее разговор записывают на диктофон, и поэтому говорила без обиняков. И уж – само собой разумеется – никто ей не предоставил расшифровку, которую она могла бы поправить. Не могу себе представить, чтобы эта достойная, церемонная, убеленная сединами пожилая дама могла бы себе позволить печатно обзывать «дураками» и «прохвостами» известных всему миру поэтов, литературоведов и общественных деятелей или во всеуслышание объявлять, что главной чертой характера Надежды Мандельштам была «подлость»... Словом, Эмма Григорьевна ггла.

В одном из пассажей она говорит о пребывании Ахматовой в больнице, куда та попала по собственному желанию сразу после ждановского Постановления, то есть году в 46–47-м. И как ей там было худо, в этой больнице.

Лежала она в одной палате – и далее цитирую: «с БАБУШКОЙ ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ (в скобках пояснение самой Эммы Григорьевны: “такая поэтесса христианская, русская и талантливая”). Она (бабушка) была женой или вдовой редактора “Известий”, коммунистка такая – когда кто-то приходил к А. А., она сразу говорила: “Дайте мне судно” – именно из-за того, что пришел человек».

От этого меня, конечно, передернуло: вроде бы как близко к тексту жизни – и при этом какая клевета! Всё – мимо, мимо, не туда!

Эмма Григорьевна жила в одном подъезде с матерью моего мужа писательницей Инной Варламовой и дружила с ней. Она часто приходила к нам на вечерние чаепития, и как-то раз я рассказала ей, что и у меня была «встреча с Ахматовой».

Действительно, бабушка моя Леля лежала в Боткинской больнице в одной палате с Анной Андреевной. Но было это не в 46–47-м годах (в 48-м Жданов уже умер), а в 64-м, она не имела никакого отношения ни к «Известиям», ни к его редактору и в те годы была не «старухой с судном», а красивой деятельной молодежкой сорокалетней женщиной, лет на семнадцать моложе самой Анны Андреевны, так что вряд ли она вообще могла оказаться тогда в больнице, тем паче что лечиться она не любила.

Видимо, у Эммы Григорьевны произошло смещение лиц и времен: то есть, возможно, с Ахматовой некогда и лежала какая-то вдова редактора «Известий» – противная старушенция, требующая судно и отравляющая интеллектуальные разговоры почтенных гостей великой поэтессы, а она совместила это с моим рассказом.

Впрочем, что ж я теперь возмущаюсь? Сама же писала в стихотворении, обращенном ко всякому

мемуаристу: «Всё было так, как скажешь. Говори!»
Переставь местами события, смести даты, поме-
няй очередность, самовластно расставь акценты,
измени масштаб, наведи цензуру, преобрази дей-
ствующих лиц, предложи новую логику сюжета, и эта
новая реальность хажнет по тебе со всей силой не-
пререкаемости – пойдй потом доказывай, как было
НА САМОМ ДЕЛЕ.

Да и где оно теперь – это «самое дело»?..
Эй, Мнемозина!

Мемуаристке

Старуха-деспотка, всезнайка, самодурка,
полна разгадками. Как вещая каурка,
все вынесет, все чувствует, все раскусит:
душа при ней парит, а сердце трусит.

Она дороже мне всех молодых сестер
и братьев доблестных. Покуда на костер
толкает юношей, шлет теноров эпохи
и с барского стола швыряет крохи.

Старуха дерзкая! Тебе б носить жабо,
чай гонять и ни гу-гу, что знаешь...
А ты героев словно бибабо
то кланяться, то каяться гоняешь.
И гребень сказочный на черный снег роняешь...

Старуха дивная! Перед тобою мгла
и обоюдоострый ушлый месяц.
Ты всех оставила – ты всех пережила:
врагов, любовников, наперсников, прелестниц.
И к небу тянутся каскады шатких лестниц.

Теперь рассказывай. Кто ел из этих рук.
Кто пил из тувельки. Кто гнал тебя по трактам.
Кто шею гнул. Кто поломал каблук.
Ты помнишь все, не доверяясь фактам,
и жест важнее, чем сюжетный трюк.

А факты – что? Их можно тасовать,
бить, словно козырем, нагнать такого дыма,
что под призором их затосковать
по жизни подлинной, которая – помимо,
неописуема почти, неуловима...

Твои истории – то сон дурной, то сруб
паленый: кто – хозяин? где скиталец?
И тут же появляется: у губ
фигура умолчания держит палец,
глаза большие делает: луп-луп.

Нет, ты раскрой лицо, разоблачи
мотив податливый, колени, найди, где сердце.
На поясе твоём бренчат ключи
от скважин мировых, от скрытой дверцы.
Кто там за нею, ну-ка, постучи...

Чтоб вещи сдвинулись, поплыли, отворя
все, что там пряталось за ними, меркло, блекло:
любовь таинственней, чем звезды, чем моря,
а ревность пламенной рубинового пекла,
ан – рядится то в мышь, то в снегиря.

А смерть прекраснее, чем первый день зимы.
И сад в снегу с открытыми глазами.
Старуха вещая, на дне твоей сумы
давно написано, что происходит с нами,
совсем не так, как это видим мы.

Три тайны вручены тебе, смотри:
одна – любви, другая – смерти... Страсти
при них тускнеют, словно фонари.
А третья тайна – это тайна власти.
Все было так, как скажешь. Говори.

